

Невозможно писать о Маяковском на его мощном, живом, полном парадоксов и неожиданных образов языке. Стыдно писать о нем по-другому. Трудно и бессмысленно пытаться "объяснить" Маяковского, несмотря на то, что это эмоциональный, открытый поэт. Вернее, именно потому, что он таков. Жалкими выглядят попытки подводить его творчество под какие-либо схемы:

*...профессора разучат до последних йот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе...*

Для меня Маяковский — прежде всего человек очень молодой. Энергия, напор, свежесть, бескомпромиссность, звонкие и самоуверенные речи, задор и остроумие - все в нем от молодости.

И вместе с тем это человек тонкий, глубоко чувствующий, ранимый, скрывающий свою уязвимость под громовыми раскатами стихов, как под броней, прячущий свой тайный душевный надрыв за показной бравадой, дерзким эпатажем.

Маяковский как будто переливает жизнь в свои стихи. Реальные факты и впечатления не только не теряют при этом своей остроты, но и становятся намного выпуклее и ярче. Поэтика Маяковского — не зеркало, отражающее жизнь как она есть, а лупа, многократно увеличивающая изображаемое. Под этой лупой мир разрастается, разбухает, теряет привычную упорядоченность и цельность и неожиданно превращается в нагромождение фантастических деталей.

Маяковский ищет и находит в повседневности причудливое, сюрреалистическое, искажает привычные физиономии вещей и явлений, дерзко размалевывает Вселенную, как ему заблагорассудится, добавляет в жизнь какую-то одному ему ведомую жгучую и ароматную приправу, с которой все становится интереснее и острее:

*Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана...*

Образы у Маяковского не сконструированы, не построены им, но возвращены в душу. Он иногда рисует их легко и артистично, иногда лепит старательно, неуклюже и нежно. Это живые, одухотворенные существа, вобравшие в себя энергию, тепло поэта, как бы сгустки его творческой мысли и фантазии:

Двери вдруг заляскали,

*будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.*

В лирике Маяковского конкретное ощущение, впечатление всегда первично. Чувство для него — основа основ. Все мысли поэта, все его идеи (особенно в дооктябрьском творчестве) идут от сердца, а не от разума. Сам поэт говорит о себе:

*На мне ж с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.*

Стихи Маяковского говорят не только душе, разуму и сердцу, но и всему организму. Они сообщают свой темп мышцам, взбудораживают кровь, действуют как допинг. Жесткие, рубленые, мускулистые ритмы Маяковского заражают, подчиняют себе. В судорожное™ этих ритмов лихорадочный темп эпохи.

Маяковский, вне всякого сомнения, поэт стихийный, вихревой. Он стремится окунуться в поток бессловесного первоначального бытия, растворить в нем свои сомнения, свою боль. И в то же время в нем громко говорит романтизм с его культом индивидуальности, героизацией самоутверждающейся личности. Этот романтизм мировосприятия . Маяковского, а также ницшеанская идея "сверхчеловека" становятся причиной броского, вызывающего поведения лирического героя, столь дерзко противопоставляющего себя окружающему миру.

Чудовищный муравейник города завораживает Маяковского. Здесь есть все, чего он хочет: смесь стихии и культуры, колоссальность масштабов, новые, самой действительностью выдуманные метафоры. Город Маяковского — это утопичный образ, сложенный вместе с тем из достоверных, конкретных черт; он сделан нарочито грубо, со всей силой вещественности и одновременно призрачен; он вызывает и восторг, и отвращение. Смешение противоположных чувств — неотъемлемая особенность Маяковского-поэта и Маяковского-человека. Даже в послеоктябрьские годы, когда Маяковский сознательно хочет быть элементарным, плакатным, лубочным, он против своей воли внутренне конфликтен, противоречив, сложен. Эта душевная мно-греоставнреть тщательно скрывается не только от читателя, но и от самого себя. Органичный для Маяковского анархизм, его природная революционность отчаянно борются с жестокой и косной системой пролетарского государства, пафос авангардизма в его творчестве остро сталкивается с пафосом социального заказа. В послереволюционных стихах — трагическое сочетание искренности и странной зажатости; живого чувства, задора и робости; смелости, изобретательности и скованности. Настораживает уже сама установка поэта служить орудием в чужих руках, инструментом, послушно повинующимся произволу власть предержащих, облакающим в свои слова и чувства чужие постановления. Ему приходится производить в своей душе строгий отбор, пропуская в стихи лишь то, что соответствует духу социалистического строительства.

Знаменательна эволюция в трактовке Маяковским темы художника-творца и его удела в

мире. Если раньше поэт был мессией, вождем и пророком, то теперь он становится своего рода воплощением собирательной воли большинства, теряет духовную независимость, становится покорным исполнителем "свыше" директив.

Маяковскому приходится принимать на веру то, с чем он не мог и не должен был соглашаться, тщательно разграничивать сферы интимного и общественного, наступать "на горло собственной песне". И за все это он же должен был расплачиваться самобытностью своего дарования и творческой свободой. Поэтому мне ближе ранняя лирика Маяковского с ее естественностью и раскрепощенностью. В ней есть тонкость, многогранность и стремление к простоте; сложное философское отношение к жизни соседствует с броским стилем, яркими и цельными поэтическими изображениями; за нервной, порывистой речью угадывается будущая монументальность, и вместе с тем нет еще тех стальных ноток, которые придают декларативность и некоторую холодность позднему творчеству. Здесь, напротив, все сделано из плоти и крови. Маяковский, подобно древнему божееству, творит свой художественный мир из собственного тела, превращает свою кровь, свое сердце в стихи. Он имеет полное право сказать:

*Творись,
распятью равная магия.
Видите — гвоздями слов
прибит к бумаге я.*

Екатерина ВАНШЕНКИНА